

Сол Беллоу

Сол
Беллоу

Равельштейн



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44
Б43

Серия «XX век / XXI век — The Best»

Saul Bellow

RAVELSTEIN

Перевод с английского *Е. Романовой*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения наследников автора
и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.

Беллоу, Сол.

Б43 Равельштейн : [роман] / Сол Беллоу ; [пер. с англ. Е. Романовой]. — Москва : Издательство АСТ, 2016. — 288 с. — (XX век / XXI век — The Best).

ISBN 978-5-17-079476-8

«Равельштейн» — последний роман Сола Беллоу, созданный в 2000 г. на основе реальной биографии его старинного друга — известного философа и публициста Алана Блума, которого неоднократно именовали — кто с восхищением, а кто и с осуждением — «Макиавелли XX века».

Учениками Алана Блума были самые консервативные и решительные «ястребы» американской политической элиты, он считался своеобразным «серым кардиналом» Белого дома.

Степень влияния Блума на американскую политику в течение многих десятилетий трудно переоценить. О его эксцентричности и экстравагантности ходили легенды.

Но каким же увидел его не человек «со стороны», не равнодушный биограф, а друг и великий знаток человеческих душ Беллоу?..

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

© Saul Bellow, 2000

 Школа перевода В. Баканова, 2015

© Издание на русском языке

AST Publishers, 2016

ISBN 978-5-17-079476-8

*Хочу поблагодарить
моего редактора Бину Камлани
за ее талант и дар ясновидения. С.Б.*

Странное дело, все благодетели мира — большие забавники. По крайней мере, в Америке это обычно так. Человек, который хочет управлять страной, должен перво-наперво уметь ее развлекать. В Гражданскую войну люди нередко жаловались на неуместные шуточки Линкольна. Он, вероятно, чувствовал, что чрезмерная серьезность куда опасней любого дуракавалания. Однако критиканы считали его поведение фривольным, а военный министр и вовсе называл президента обезьяной.

Среди разоблачителей, ниспровергателей и насмешников, формировавших вкусы и умы моего поколения, самым выдающимся можно назвать Генри Луиса Менкена. Помню, как мои однокашники, подписчики журнала «Американ меркьюри», ночами читали его репортажи о ходе Обезьяньего процесса. Менкен яростно нападал на Уильяма Дженнингса Брайана, весь «библейский пояс» и американских обывателей, которых выделял в отдельный вид — «бубус американус». Клэрэнс Дэрроу, адвокат Споукса, олицетворял собой науку и прогресс. Брайан, креационист и критик эволюционизма, в глазах Дэрроу и Менкена был эдаким нелепым пережитком прошлого, мертвой ветвью эволюции. Его

болтовня о биметаллизме и свободной чеканке серебряных монет стала предметом всеобщих насмешек, равно как старомодная риторика, годившаяся разве что для Конгресса, и гастрономические вкусы (он закатывал огромные фермерские пиры, которые, по словам Менкена, рано или поздно должны были свести его в могилу). Взгляды Брайана на сотворение мира подвергались постоянным нападкам в ходе судебного процесса; он прошел путь птеродактиля — неуклюжая версия идеи, которая потом имела успех — летающие ящеры превратились в теплокровных птиц, что сегодня порхают с ветки на ветку и поют.

Я заполнил целый блокнот цитатами из Менкена и прочих забавников и остроловов вроде У. К. Филдса, Чарли Чаплина, Мэй Уэст, Хьюи Лонга и сенатора Дирксена. Там была даже страница, посвященная юмору Макиавелли. Но я не стану терзать вас своими рассуждениями о роли юмора и самоиронии в демократическом обществе. Не волнуйтесь. Я очень рад, что мой старый блокнот пропал, и больше не желаю его видеть. В этой книге он всплывает лишь раз в виде короткого упоминания — своего рода распространенной сноски.

Я всегда питал слабость к сноскам. Остроумные и колкие примечания, на мой взгляд, вытянули немало плохоньких текстов. И я отдаю себе отчет, что сейчас использую именно распространенную сноску для перехода к серьезной теме — и быстрого перемещения в Париж, в пентхаус «Отеля де Крийон». Начало июня. Время завтрака. Нас с женой принимает у себя мой хороший друг, профессор Равель-

штейн — Эйб Равельштейн. Мы поселились этажом ниже. Жена еще спит. Весь пятый этаж занимает Майкл Джексон и его свита (этот факт не имеет особого отношения к делу, но почему-то я не могу его не упомянуть). Каждый вечер поп-король выступает в огромных концертных залах Парижа. Очень скоро его французские фанаты соберутся под окнами отеля и, задрав головы, начнут хором орать: «Ми-кель Джек-соун!» Сдерживают толпу полицейские. Если смотреть на мраморную лестницу сверху, видно телохранителей Майкла. Один из них разгадывает кроссворд в «Пари геральд».

— Как нам повезло с этим поп-цирком, а? — сказал Равельштейн.

Тем утром профессор пребывал в чудесном расположении духа. Он договорился с руководством гостиницы, чтобы ему дали этот завидный номер. Жить в Париже — да не где-нибудь, а в «Крийоне»! Наконец-то приехать сюда с деньгами. Больше никаких грязных номеров в отеле «Драгон волан» (или как он там назывался) на улице Дракона или в «Академи» на рю де Сен-Пер, с окнами на медицинский университет. Роскошной «Крийона» отелей просто не существует; именно здесь останавливалась вся американская верхушка на время переговоров после Первой мировой.

— Здорово, правда? — вновь спросил Равельштейн, бурно жестикулируя.

Я согласился. Мы жили в самом сердце Парижа — под нами были площадь Согласия с обелиском, музей Оранжери, Бурбонский дворец, Сена с ее помпезными мостами, дворцами и садами. Конечно, все

это радовало глаз и само по себе, но вдвойне приятней было любоваться парижскими видами из пентхауса Равельштейна. А ведь еще в прошлом году его долги перевалили за сто тысяч. Он в шутку называл их «амортизационным фондом».

— С такими долгами мне уже никакие финансовые удары не страшны. Ты ведь знаешь, что это такое?

— Амортизационный фонд? Догадываюсь.

Но и до того, как Равельштейн разбогател, ни у кого не возникало недоумения по поводу его потребности в костюмах «Армани», чемоданах «Луи Виттон», запрещенных кубинских сигарах, золотых ручках «Мон Блан» и хрустальных винных бокалах «Лалик» и «Баккара». Равельштейн был из крупных мужчин (высоких, а не толстых), и его руки начинали трястись при выполнении сложных манипуляций. Дело было не в слабости, а в распиравшей его изнутри неумеренной энергии.

Что ж, его друзьям, коллегам, ученикам и поклонникам больше не надо было раскошелиться, дабы потакать его барским замашкам. Минуло то время, когда Эйб осуществлял сложную торговлю и обмен серебром Йенсена, сподовской посудой и кемперским фаянсом. Равельштейн разбогател. Его идеи получили огласку и признание. Он написал книгу — сложную, но популярную, — вдохновенную, умную, воинственную книгу, и теперь она успешно продавалась на обоих полушариях и по обеим сторонам экватора. Дело было сделано быстро, но с толком: никаких дешевых уступок, популяризаторства, интеллектуального жульничества, никакой *апологетики* или бахвальства. Равельштейн имел

полное право выглядеть так, как выглядел сейчас, когда официант накрывал на стол завтрак. Интеллект помог ему сделаться миллионером. Это тебе не фунт изюма — добиться славы и богатства, высказывая свое мнение — открыто, без обиняков и компромиссов.

В то утро на Равельштейне было кимоно, голубое с белым — подарок из Японии, где он в прошлом году читал лекции. Его спросили, что бы он хотел получить в подарок, и он сказал, что давно мечтает о настоящем кимоно. Этот образчик явно был сшит на заказ и пришелся бы впору какому-нибудь сегуну. Равельштейн был очень высок ростом (впрочем, не слишком грациозен). Его великолепное одеяние, только перехваченное посередине поясом и больше чем наполовину распахнутое, обнажало невероятно длинные тощие ноги и нижнее белье.

— Официант говорит, Майкл Джексон не желает есть творения крийонского шефа, — сказал Равельштейн. — Он повсюду возит с собой личного повара, и стряпня местного ему не годится — хотя она вполне устраивала Ричарда Никсона, Генри Киссинджера и целую прорву всяких шахов, королей, генералов и премьер-министров. А эта гламурная обезьянка, видите ли, воротит нос! Нет ли в Библии строк про покалеченных царей, питающихся объедками со стола их завоевателя?

— Вроде бы есть. Там еще про отсеченные большие пальцы на руках и ногах. Но при чем тут «Отель де Крийон» и Майкл Джексон?

Эйб рассмеялся и ответил, что сам толком не знает — просто в голову пришло. Здесь, наверху, фа-

натский дискант — глас хором орущих парижских подростков — смешивался с гулом автобусов, грузовиков и такси.

Итак, мы чудесно пили кофе на фоне исторических пейзажей. Настроение у Равельштейна было отменное, но мы старались говорить тихо: Никки, спутник Эйба, еще спал. В Штатах у Никки была привычка до четырех утра смотреть сингапурские боевики, да и здесь он ложился уже под утро. Чтобы не потревожить его блаженный сон, официант сдвинул скользящие двери, и я время от времени взглядывал сквозь окошко на его округлые руки и зыбкие каскады длинных черных волос, рассыпавшиеся по блестящим плечам. В свои тридцать Никки еще мог похвастаться юношеской красотой.

Вошел официант с земляникой, бриошами, джемом и кастрюльками, которые меня научили называть «гостиничным серебром». Эйб сунул в рот булочку и тут же принялся размашисто расписываться на счете. Я ел куда аккуратнее. Когда я смотрел на Равельштейна за едой, мне казалось, что на моих глазах происходит некий биологический процесс: он подбрасывал топливо в систему, насыщал мозг, питал новые идеи.

В то утро Эйб в очередной раз склонял меня к тому, чтобы посвятить себя более общественно значимым темам, уйти от личной жизни в «большую жизнь, в политику». Он давно просил меня попытаться силы в биографическом жанре — и я согласился. По его просьбе я написал короткую статью о взглядах Дж. М. Кейнса на военные репарации, которые Германия вынуждена была выплачивать после заключе-

ния Версальского мира и снятия блокады в 1919 году. Мои труды пришлись Равельштейну по вкусу, но он считал, что я способен на большее. Ты, говорил он, чересчур витиевато пишешь. Я ему отвечал, что слишком большой упор на сухие факты сужает мой интерес к предприятию.

Лучше уж признаюсь в этом сейчас: в школе у меня был учитель английского и литературы по имени Морфорд («Безумный Морфорд», так мы его звали), велевший нам однажды прочесть статью Маколея о босуэлловском «Джонсоне». Не знаю, была это идея самого Морфорда или произведение действительно входило в учебную программу. Статью, которая едва не довела меня до горячки, Маколею в XIX веке заказала Британская энциклопедия. Маколеевская версия «Жизни», «изошренность» джонсоновского мышления потрясли меня до глубины души. С тех пор я прочел немало критических мнений о викторианских излишествах Маколея, но так и не излечился — да что там, я и не хотел излечиваться — от своей любви к автору. Благодаря Маколею я до сих пор представляю воочию, как Джонсон хватался за фонарные столбы, ел тухлое мясо и прогорклые пудинги.

Какой линии придерживаться при написании биографии — вот что стало для меня проблемой. Можно было взять за образец того же Джонсона, сочинившего мемуары о своем друге Ричарде Сэвидже. Еще был, разумеется, Плутарх. Когда я упомянул Плутарха одному ученому-эллинисту, тот снисходительно обозвал его «всего лишь литератором». Но ведь без Плутарха не было бы «Антония и Клеопатры», так?

Еще я всерьез поглядывал на «Короткие жизнеописания» Обри.

Однако нет смысла приводить здесь полный список.

Я попытался описать Равельштейну мистера Морфорда. Безумный Морфорд никогда не приходил в класс пьяным, но явно много пил — у него была багровая физиономия запойного пьяницы. Каждый день он надевал один и тот же костюм, купленный на какой-нибудь распродаже по случаю «уничтожения складов». Он не хотел никого знать и не хотел, чтобы его знали. Растерянный взгляд его испитых голубых глаз никогда не был направлен на человека — коллегу или ученика — только на стены, в окно, в книгу. За одну четверть мы успели изучить с ним маколеевского «Джонсона» и шекспировского «Гамлета». Джонсон, несмотря на золотуху, водянку и оборванство, все же обзавелся немалым количеством друзей; он писал книги так, как Морфорд вел уроки, слушая в нашем исполнении вызубренное наизусть: «Каким докучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что ни есть на свете!» Коротко остриженная голова, воспаленное лицо, руки сцеплены за спиной. В самом деле, каким докучным и ненужным...

Равельштейна мой рассказ не слишком впечатлил. И зачем я вообще решил поделиться с ним воспоминаниями о Морфорде? Но все же Эйб не зря заставил меня написать очерк о Кейнсе. Кейнс, влиятельнейший экономист и государственный муж, известный всем своей работой «Экономические последствия мира», строчил друзьям по блумсбе-

рийскому кружку письма и заметки о прениях касательно военных репараций между поверженной Германией, лидерами стран-союзников — Клемансо, Ллойдом Джорджем — и американцами. Равельштейн, не слишком щедрый на похвалы, сказал, что я первоклассно написал об этих кейнсовских заметках. Впрочем, Хайека как экономиста он ставил куда выше, чем Кейнса. Кейнс, по его мнению, преувеличивал беспощадность стран-союзников, тем самым играя на руку немецким генералам и в конечном итоге — фашистам. Версальский договор еще мягко обошелся с Германией. Военные цели Гитлера в 1939-м мало чем отличались от целей кайзера в 1914-м. Однако, если не принимать во внимание эту досадную ошибку Кейнса, достоинств у него было немало. Получив образование в Итоне и Кембридже, он затем вращался среди интеллектуалов блумсберийского кружка, где совершенствовался в социальном и культурном плане. Большая политика сделала из него человека. Полагаю, в личной жизни он считал себя уранистом — англичане стыдливо называют так гомосексов. Равельштейн упоминал, что Кейнс женился на русской балерине. Еще он мне рассказал, что Уран был отцом Афродиты, а вот матери у нее не было. Она родилась из пены морской. Такие вещи он говорил вовсе не потому, что считал меня невеждой — просто в данный момент ему хотелось обратить мое внимание именно на них. Он еще раз напомнил, что Урана убил и оскопил титан Кронос, а ураново семя пролилось в море. И это имело какое-то отношение к репарациям и к тому факту, что Германия, во времена